Мама / рассказ

Category: Hekaýalar,Kitapcy
написано kitapcy | 24 января, 2025
Мама / рассказ MAMA

Сегодняшний день мой начался с ощущения опустошенности и потери, и начало его, томительное и серое, было продолжением сна – с выдыхающимися красками, с последними титрами и финальными аккордами, слабеющими в разгорающихся светом стенах оставленных всеми. Я хорошо запомнил этот сон: будто бы я стою в комнате отца, комнате непривычно освещенной, буквально залитой ярким солнцем, (из-за того, что шторы, против обыкновения, широко раздернуты и дверь распахнута настежь – через нее-то я так свободно и вошел), и в ней, кроме меня, никого. Я стою, понимая, что мы – я, сестра и мама, сейчас на юге, на Черном море, и что отца с нами в этот раз нет – он остался дома из-за того, что у него скопилось слишком много работы, нужно многое дописать, и, следовательно – соображаю я – эта комната не его… Тем временем внимание мое привлекает какой-то шорох, может быть за спиной, может быть где-то сбоку, – я оглядываюсь, но не вижу ничего, что могло бы шуршать. И тут в поле бокового зрения вдруг влетает что-то большое, и будто бы машет белыми крыльями, неловко, словно бабочка, заваливаясь набок. А следом еще, и еще, и еще, и вот уже это рядом со мной, и передо мной, и даже прямо на меня – летит, кувыркается и падает у моих ног, и я вижу, что это книги отца, они порхают, кружатся, трепещут страницами, стаями слетая с полок шкафа, с этажерок, с подоконника, с тумбочки, и всё валятся, валятся, устилая пол, и я порой чувствую их скользящие росчерки, будто и вправду меня касаются бабочки, эфемероптеры…
Что значит этот сон, что означает это роение? При нем ли еще это было, – я имею в виду присутствие отца в том, собственном времени сна, – или когда я перестал его видеть даже там?.. Словно диафильм я прокручиваю сон туда и обратно, от озаряющегося тревогой финала к началу, из которого он берет

свои краски, от пробуждения – к душному сумраку павильона «Привет из Сочи» в котором мы с Маринкой, тратя оставшееся время, прыскаем от смеха, под дребезг фокстрота наговаривая в микрофон какие-то глупости, чтобы они, как сказала мама с печальной улыбкой, остались на украшенной букетом желтых и розовых хризантем открытке (под льдистою, нетающею корочкой глянца) для папы. Увлекаясь, я не замечаю, как перешагиваю рамки сна, и снова, увлекаемый сюжетом, возвращаюсь обратно, я сную, я томлюсь догадкой и мне кажется, (и, может быть, ставшее привычным чувство опустошенности помогает мне в этом, превращая память в распахнутый настежь рояль, в струнной глубине которого отдается каждый нечаянный вздох), что я как никогда близок к разгадке нашей семейной тайны, ко всей этой истории отцовского ухода. Если не к началу катастрофы, то к тому месту, где она проявляется наиболее отчетливо, к моменту, в котором ее можно было бы даже купировать, имей я непосредственное сообщение с заочными областями минувшего. Бабочки… Пораженный догадкой, я вдруг замираю. Этот ее отмахивающий жест, да-да, именно с него все началось!

Мама работала в районной библиотеке, и часто приносила с работы новинки – почитать. И себе, с тетей-Ниной и бабушкой, и отцу, и нам с Маринкой. Разобранные таким образом по кругу читателей, книги лежали тремя стопками на подоконнике в зале, а в прихожей, у комода, высилась четвертая стопка – уже прочитанных, тех, что нужно было относить обратно. В тот год, когда мы впервые ездили на море без отца, в последние теплые выходные осени, мама взялась мыть окна: бухнула на табурет таз с водой, рывком раздернула шторы, швырнула тряпку… Уже долгое время она была чем-то сильно расстроена, что-то томило ее, угнетало. Порой она словно злилась на что-то, но на что, мы с сестрой никак не могли понять. Вот и в этот раз, глядя на такую экспрессию, я торопливо припомнил все, что мы с Маринкой вытворяли вчера, пока товарищи отца по цеху сидели за столом, припомнил отца, под пьяный смех пересказывавшего фрезеровщикам и слесарям, кажется, «Квартеронку» и «Копи царя Соломона», и, как обычно, предлагавшего им со щедростью восточного шейха взять – на время, разумеется – часть подобных сокровищ домой,

но ни на чем «таком» не препнулся. «Может быть, она просто не хочет мыть окна?» — подумал я, (ветер очень даже страстно налетал на рябины, раскачивал их, склонял и толкал на что-то…), но уточнять не стал: я знал, что когда мама бывала не в духе, она тоже принималась за уборку, но не так, как это, например, делали бабушка и тетя-Нина — чтобы выхолоститься в размеренной монотонной работе, нет, энергия маминого взрыва в таких случаях была направлена не вовнутрь, а вовне, и ярясь, она занималась не столько наведением порядка, сколько сокрушением и уничтожением чего-то невидимого, хтонического и неистребимого. В такие минуты к ней лучше было не подходить.
Из глубины полутемного коридора я взирал на распахнутые, со стеклистым хрустом, рамы, на маму, вскочившую на подоконник и кропящую окрест себя мелкой пеной, на летящие на пол комки истрепанных газет… Нет, она не наводила порядок (это было бы понятно и оправданно, поскольку после нас с сестрой это было просто необходимо делать — ежедневно, даже по нескольку раз в день, ежечасно, ежеминутно, и вполне этому можно было бы посвятить одну отдельную жизнь), а именно боролась с беспорядком. Она видела в нем своего личного врага и неустанно побивала его, как святой Георгий — змея, не ослабляя внимания ни на минуту, бдила, стараясь уничтожать мельчайшие, самые первые и робкие признаки его появления еще в зародыше, будь то лежащая не на месте газета, или не вовремя помытая посуда. Бдила, никого не принуждая разделять свое подвижничество, неся свой крест одна, без жалоб и упреков — потому, что уборка была для нее так же и способом приведения в согласие с миром себя: словно что-то в ее душе, с каждым возвращенным на место предметом, с каждой очищенной от пыли безделушкой тоже, очищалось, возвращалось и упорядочивалось, сообразуясь с предустановленным от века божественным промыслом.
Вот и теперь движения маминых рук постепенно замедлялись, обретая плавность ласкающих движений, разглаживались упрямые морщинки на ее лбу, светлел взгляд, и голуби с оливковыми ветвями в клювах снова слетались на наш подоконник. Очищенные от скверны и трижды омытые рамы закрылись, опали и распрямились шторы, возвратились на место таз и тряпка,

табурет, книги… Мама ушла, оставив после себя такой привычный и такой любимый мною запах жасмина и лимонных цветов, я вышел из своего убежища, вышел и возвестил городу и миру о том, что гроза миновала, что можно снова играть, и мы играли. Но порой, словно отвлекаясь от важного на что-то, не имеющее ни цены, ни имени, я все вспоминал и вспоминал тот мамин жест, видеть который я был не должен: убирая с подоконника книги, мама двинула их так резко, что некоторые даже полетели на пол. И даже когда жест в памяти стирался, я сам, может быть с чуть излишним нажимом, раз за разом обводил его взглядом, воскрешая. И раз за разом границы его расширялись, словно отделяя что-то в нашем доме от чего-то, чистое — от нечистого, существующее — от мнимого, суетное — от символа веры, отделяя навсегда, безвозвратно, и с изумлением я наблюдал, как меняется что-то уже в самом веществе его стен, притихших, словно оглушенных благой вестью.

Прошло время, и многое забылось. Как и прежде, мама все свое свободное время придирчиво осматривала углы, поправляя и перекладывая все, что лежит не на своем месте, соединяя разрозненное, систематизируя бессистемное, восстанавливая пошатнувшиеся на миг устои мира и возвращая им изначальную гармонию, впрочем, уже как-то без легкости, без пенящегося азарта, но с тяжелеющим фанатизмом алхимика, и если бы ей доставало еще чуть больше сил, она наверняка бы занялась реэманированием материи обратно в чистую Идею, в сияющую совершенством плерому. Цель ее беспрестанных усилий, кажущаяся такой близкой, все время ускользала, не давалась и преследуя ее путями ясности и простоты, мама однажды, незаметно для себя, угодила в страшную ловушку, путь к которой, без умысла, указал ей верный ее супруг, и даже не сам он, а силы, двигавшие им и управлявшие его любовью и страстью, смыслом и целью его существования. И даже не указал, а всего лишь явился проводником неизбежного, сам невинный и непричастный. (В определенном смысле любое сочетание человеков на земле можно считать результатом взаимодействий невидимых сил в небесах, стоящих за ними, не стали исключением и наши родители, чей союз являлся причудливым отображением схватки двух

противоположных устремлений материи, отчего оба они всю жизнь страдали, не понимая, за что принимают друг от друга такие муки, и что же им надобно сделать для счастья, как взойти по этим крутобоким мостам эпюр туда, где царит мир и покой, ибо мир и покой для них означали разное.)

Столкнувшись с неопределенностью природы отцовского «искусства», мама признала ее вредной и опасной, провидев лежащую в основе всего апполлоническую бездну, грозящую всему разумному погибелью, а каждому из причастных – сумасшествием, одиночеством и насмешками (всем тем, что, в общем, отец и испытывал всю жизнь, не замечая). Вынужденная до поры до времени смиряться с таким положением вещей, она, тем самым летом увидев, что в созидаемом ею мире это имеет власть куда большую, чем ее собственная, возненавидела и отвергла, как отвергают страшное зло, самые ничтожные проявления богемной расхлябанности и пустилась преследовать их препуще беспорядка и грязи. Борьба осложнялась неопределенностью образа врага, непонятно было, что опаснее: вдохновенное безделье отца, или его исступленная работа по ночам, сосредоточенная отрешенность, временами отбиравшая ближайшего члена семьи у нас напрочь, или рассеянность, превращавшая его порой в опасного соседа, грозящего незакрытым газом, калящимся без присмотра утюгом, или утерянным в третий раз за месяц ключом от входной двери. Недолго думая, мама решила наступать по всем фронтам. Она заставила отца заниматься домашними делами «как все нормальные мужики», вынудила его взять на фабрике участок под картошку, «чтобы поменьше оставалось свободного времени на свои фантазии», наряжала в рубашки и выводила в театры, «чтобы быть как все нормальные люди», следила за режимом, не позволяла засиживаться в одиночестве, и вообще, как советовала бабушка, «не спускала с него глаз». А отец – отступал. Шаг за шагом. Как человек любящий, он был мягок и слаб, и лучшее, что он мог сделать для мамы, это по мере сил, освобождать пространство от всего того, что она считала разором и ложью, а заодно уж и от самого себя – как от носителя этой скверны. Так он и отступал всю свою жизнь, по чуть-чуть, по шагу, по дню, и отступал от самой жизни и, неосторожно переступив однажды за

край, исчез из нее вовсе. Мама же, увлеченная преследованьем, неосмотрительно приблизилась к самому краю бездны разверзшейся прямо у ног и, остановившись, заглянула туда, ужаснулась и прокляла «вот это вот все» навеки. И когда, застигнув меня за строительством из конструктора каких-нибудь «гонок», наша любимая и не в меру забывчивая бабушка елейно интересовалась: «А Сереженька, наверное, будет инженером, да? Он, наверное будет книжки умные читать…» – я замечал, как передергивает маму при слове «книжки»…

С тех пор, как отца не стало, у мамы появилась тайна, о наличии которой мы догадались только время и время спустя, да и то, по косвенным признакам: там, на краю пропасти, в клубящейся мгле она все же услышала пенье Аонид и узрела иной, дивный мир, узрела и была поражена им в самое сердце. Очарованная, с тех пор она все словно пыталась украдкой привести свою собственную жизнь в соответствие с увиденным и, прислушиваясь к голосам, звучащим где-то совсем рядом неслышно но настойчиво, следовала веленьям дорогами неторными и извилистыми, делая вещи поражавшие нас сколь своею новизной, столь и полным несоответствием прежнему ее характеру. Это было похоже на совращение и на эпифанию одновременно.

Сначала мама увлеклась кулинарией и принялась удивлять нас неслыханными прежде изысками, так, что мы стали ощущать себя за столом по меньшей мере патрициями, и слова «бешамель», «а-ля кокот» или, например, «фо-бо» стали нам привычны столь же, как прежде «борщ» или «котлеты». Затем она увлеклась вязанием, и мы покорно целых два года носили сплетенное из ярко-оранжевого терновника, который ушлая бабуся на остановке выдала ей за «чистую ангорскую шерсть» все то, что прежде, по мере надобности, спокойно покупали в своих поселковых «Промтоварах». Оставив вязанье, мама записалась было в хор, но тут наша стыдливость и своеобразно понимаемые правила приличия взяли над умиленным попустительством верх, и мы взроптали. Немного поупиравшись, мама уступила. Потом было что-то еще, связанное с правильным дыханием, дыханье сменили дома и натальные карты… Заинтригованные, мы поначалу списывали все на издержки пенсионного возраста – дескать, нужно же человеку

теперь чем-то занять себя, но год от года продвижение ее по скорбной юдоли становилось как все более целеустремленным, так и все более загадочным, словно помыкавшись в первое время в потемках, она, наконец, освоилась и, узрев свет истины, уверенно двинулась к нему. Как человек решительный, мама смекнула, что в стремлении к новой гармонии нужно не следовать рабски ее веленьям, но пытаться самой уловить ее, подчинить себе и запечатлеть чем-то вроде печати Сулеймана-ибн-Дауда.

В один прекрасный (он действительно был прекрасным, в конце августа) день мама пришла домой и с торжествующим видом выгрузила перед нами из объемистой сумки пачку ватманской бумаги четвертого формата, здоровенную коробку акварели «Нева», пластмассовую палитру и полдюжины разнокалиберных кистей. Чуть позже в доме появилась внушительная тренога мольберта… Она принялась за работу со скоростью полиграфической машины. Переполненная виденьями скопившимися в закоулках ее души в течение новых странствий и услышавшая, наконец, повеление, распустившее узы, мама спешила воспроизвести все, определяясь с форматами, гаммой и цветоделением уже на ходу, с пугающей скоростью совершенствуясь в своем искусстве, напоминающем, в целом, чудо пятидесятницы.

Запасшись кувшином чистой воды, она уединялась у себя в комнате, разливала воду по баночкам из-под майонеза, баночки выставляла в ряд, затем клала перед собою десть чистых листов, бралась за кисти, и… замирала в ожидании. Она стояла перед чистым листом, словно погруженная в сон с открытыми глазами и, спустя время достаточное иным людям для того, чтобы выспаться, вдруг встрепенувшись, подбегала к мольберту и, не глядя схватив первую попавшуюся кисть, спешно приступала к фиксации того, что разгоралось с обратной стороны ее сетчатки. Работа кипела. Во все это время мамины глаза не закрывались и даже не моргали, чтобы не прерывать установившегося контакта с листом и не нарушать процесса. Готовые рисунки для просушки раскладывались на полу, начиная от дальних концов комнаты, и все ближе к ногам, так, что по мере роста охватывавшего ее вдохновения, все больше ограничивалась свобода ее

передвижения, (что символично) и, в конце-концов, она уже была принуждена стоять на пуантах, словно балерина, томно поворачиваясь всем станом для того, чтобы выбрать нужную кисть, взять новый лист бумаги, или подвинуть поближе неизбежно отталкиваемую в азарте палитру. Когда же места для творчества совсем уже не оставалась, мама жалобными и какими-то даже беспомощными криками, не меняя аттитюда, звала нас с сестрою и велела собирать готовое, опять же, начиная с ближнего к нам, и дальнего (максимально, полностью дальнего — уже в метафизическом смысле) для нее, сворачивающегося, по мере просыхания, в трубки. Работа шла до позднего вечера и, добравшись до мамы, освободив ее из плена собственных иллюзий, мы с Маринкой уже в полной темноте крались, прижимая к груди вороха рисунков, в сад и там развешивали их для окончательной просушки на бельевых веревках, ухватывая за самый уголок прищепками сосны и облака, кисти рябин, ветви яблонь, листья нашей сирени, излучину реки — все, что будучи вынесенным мамой со дна дельфийского провала, пребывало теперь в мире удвоенным. Бабушка, стоя на ярко освещенной веранде, то пугливо вглядывалась в вязкую колышащуюся глубину сада, то озиралась по сторонам, готовая при малейших признаках опасности условным свистом предупредить нас — она ужасно стеснялась соседей и ежедневно посвящала большую часть дня изобретению новых и все более достоверных легенд, долженствующих объяснить появление этих странных рисунков на тот случай, если нас все-таки однажды застукают, а утром, чуть свет, она, давно уже страдавшая бессонницей, поднималась к нам в комнату и громким шепотом поднимала нас с постелей и гнала в сад, чтобы мы успели снять акварели до первых случайных свидетелей.

Теплыми ночами ватман просыхал быстро, и я помню, как скреблись и шуршали эти ставшие вдвойне жесткими от краски и влаги листы, как передавали мы друг-другу прищепки и как крались потом, прижимая добычу к себе, замирая и приседая при условном покашливании бабушки, в дом и, сложив рисунки у порога маминой комнаты, поднимались обратно к себе, в сонное тепло детской. Мы падали в кровати не раздеваясь, и часть

красок, испачкавших нас, оставалась потом на подушках и одеялах достоверным свидетельством снов, и вода, когда мы, проснувшись окончательно, умывались, текла между наших пальцев тоже, цветная: голубая и розовая, желтая, зеленая… Нас это забавляло, нам это казалось каким-то новым, необыкновенным свойством уходящего лета, но все же больше всего мы любили осень – за то, что часто, едва ли не каждое утро, упершись носами в холодные стекла, сквозь собственное дыхание мы с затаенной радостью видели, что на ветру раскачиваются чистые, белые прямоугольники – дождь смывал за ночь все краски и, значит, нам не нужно идти в промозглую сырость, брести по мокрой траве, снимать и уносить в сырую и согретую за ночь теплом наших тел глубину дома свидетельства иной, стесняющей нас жизни… Мы были жестоки, бесспорно, хотя и старались ничем не выдавать своей радости.

Со временем поток акварелей иссяк. По отсветам и всполохам, видимым во тьме жизни ей одной, она, шаг за шагом, еще продолжала двигаться туда, куда так боялась попасть на самом деле, и в существование чего никогда искренне не верила, но упрямые начала, преобразующие ничто в нечто никак не давались ей, ускользали, и картины той, чарующей жизни все реже появлялись с стой стороны ее глаз, сменяясь черными завывающими провалами, на дне которых клубилось нечто страшное, бесформенное, готовое поглотить и выстудить все и вся. По дню и по два простаивали ее кисти и холсты без прикосновения рук, сохла палитра, а прежние рисунки пылились по углам. Она пыталась, время от времени, усилием воли догнать, ухватить ускользающие образы, но вдохновение уходило и не возвращалось, а на борьбу с клубящимся нечто, в котором прозревались черты первозданного хаоса, уходили все силы. Однажды мы с удивлением обнаружили в ее комнате баночки с затухшей водой, и какие-то мелкие растения, пустившие в их мутной жиже корни, мольберт, накрытый сохнущей вот уже третью неделю простыней и десть бумаги, наполовину сгрызенную мышами. Мы вылили воду, убрали белье и смели со стола бумажную труху. Заинтригованные, мы с волнением ждали, куда теперь поведет ее новое странное призвание, неотменимое как любовь и тяжелое как

обет. Подобно последнему паладину, изнемогающему у границ вожделенного Града, она слонялась какое-то время туда и сюда, с горящими глазами на увядающем, съёживающимся как орех лице — не имея больше возможности запечатлевать самой терзающие ее видения, она была согласна на паллиатив, она готова была хранить и чужие свидетельства того мира, но что могло достоверно передать его черты? Чему можно было довериться? День за днем бродила она, озираясь, словно поверяя заурядные вещи, окружающие ее, на соответствие ушедшим образам, пока не остановилась, наконец, на почтовых открытках — вероятно ей показалось, что именно они хранят фрагменты тех удивительных видений, что лишили ее покоя и привычного образа жизни, а может быть что-то другое, какое-то далекое, почти стершееся воспоминание уязвило ее случайной гаммою ярких, осенних красок. (Порою взгляд мамы туманился, словно вставала перед ним какая-то вина или воспоминание, которого она не бежала, но и не в силах была вынести.)

В первый раз мы обнаружили один такой прямоугольник на обеденном столе. Ярко-белый с испода, новенький, незапятнанный как tabula rasa, он отметал все предположения о своем случайном явлении весточкой памяти из семейного альбома, выпадении в качестве закладки из книги, или даже просто материализации из чьего-то укромного уголка персональной истории. На следующий день еще один такой же подобрала у порога веранды Маринка. Затем мы стали находить их еще и еще — они стали появляться всюду, в самых странных местах, в количествах, наводящих на мысль о нашествии. Переглянувшись, мы поняли, что в жизни мамы наступил новый фазис постижения той первозданной силы, что равно толкает человека и в бездну преступления и на вершину искусства.

Мама собирала открытки азартно, неряшливо, бессистемно. Хватала их истово, как хватают малейшую весточку друг о друге влюбленные, разлученные судьбой и подолгу вглядывалась, словно и вправду читала там незримые для нас слова, писанные рукой того, отсутствующего! Она вынимала их из почтового ящика и, не давая нам разглядеть даже имени отправителя, уносила к себе в комнату, она, прекрасно робея и стесняясь, выпрашивала

«ненужные» (о, этот кошмарный плеоназм!) «открыточки» у соседей и родственников, подбирала их, выброшенные, на улицах, покупала на почте, (якобы впрок, чтобы отсылать потом адресатам весь год, не беспокоясь, но все мы знали, что это, конечно же, лишь ее бесхитростная уловка – в преддверии следующей даты она опять, сунув неуловимым жестом деньги в карман плаща или брюк, или пальто – чего там по сезону – улизнет из дому туда же), а Маринка утверждала даже, что собственными глазами, через плечо, из-за угла, поздно в сумерках видела, как мама вытаскивает эти открытки из чужого, соседского ящика! Словом, в погоне за фата-морганой мама пустилась во все тяжкие.

Скоро они были повсюду, эти одинарные и двойные, матовые и лакированные, аскетические и изобильные карточки. Роскошные букеты соседствовали с арктической белизной зимних лубков, скромные гвоздики – с женственными кренделями, поставленными на попа, супрематические «Авроры» и матросы – с мультяшными зайчиками и цыплятами. Опавшими лепестками, мертвыми бабочками, блестками они покрывали стол, стулья, комод и даже кровать в маминой комнате, и ложась вечером спать, она не убирала их, но сделавшись сама такой же тонкой и гибкой, проскальзывала под цветы и сугробы, укрывалась лучами света, отблесками зарниц, и наполняла их током своей крови, теплом, дыханием и биением сердца, так, что они уже совершенно становились ею, а она – ими, и войдя в комнату после полуночи, уже невозможно было отыскать маму среди отблесков красок, блекнущих лиловых строк, расплывающихся черных штемпелей и запутавшихся во всевозможных вероятностях своего существования почтовых индексов – контуры ее маленького тела терялись в путанице роз и колокольчиков, бабочек, белочек, лисичек, что перебегали, перелетали ее вдоль и поперек, прорастали насквозь, подминаясь, протискиваясь под бока, дремали на руках, прятались в темных впадинах теней, поблескивали в лунном свете, изящно изгибаясь, растягиваясь и сжимаясь, мерно поднимаясь и опускаясь в так ее неслышному дыханию. Ее лоб и щеки, кисти рук, и грудь, даже ее ступни говорили, шептали бормотали в ночном покое бессвязные обрывки фраз, сдавленными

голосами восклицали приветствия, произносили поздравления, звали кого-то по именам, убеждали, звали, молили, напоминали, сообщали, требовали и, осекшись, прощались — то торопливо и сухо, то цветисто-многословно, превращая финальные коды в роскошные фиоритуры, пахнущее как букет хризантем: сладко и влажно, избыточно, утомительно, смертно.

Сначала, для того, чтобы услышать все это, нужно было долго прислушиваться, но со временем, когда открыток стало больше, голоса зазвучали громче и настойчивее, уже не стесняясь, и скоро они уже просто лезли в уши, утверждая, повествуя, свидетельствуя о том, что существует где-то там, далеко, не здесь — что-то невидимое и неосязаемое. Порою в ее комнате слышался детский смех, порою — плач, но чаще всю ночь до утра дребезжали задышливые старческие голоса, словно там собралась на ночлег толпа юродивых, ведущих свой путь из паломничества ко святым местам. Открытки скапливались на полу, в углах, на подоконнике, на столе, постепенно вытесняя мамину, да и нашу собственную жизнь, наши улыбки, смех, воспоминания, оставляя взамен чужой кашель, одышку и тяжелое дыхание, оседавшее поутру на стенах неопрятной, колеблющейся серой паутиной. Громоздясь в пирамиды и башни, а ими — устремляясь к самому потолку, они, с ослаблением магнетических сил, раскачиваясь, планировали вниз, обрушиваясь, с легким шелестом, на горы таких же, ждущих своего часа. Осыпаясь со стен, они обнажали лицо пустоты, и давно забытые лилии и розы на обоях не возвращали нам радости воспоминаний, но лишь усиливали общее впечатление запустения, так, словно это проступали не цветы, а дранка и каркас жилища, воздвигнутого прямо над бездной. По ночам, в свете фар проползающих по улице машин, из пахнущей тленом пелагиали вдруг внезапно и стремительно вырастали неряшливые побеги черных водорослей, изгибались, опадали и потом долго гнили, наполняя комнаты зловонием, так, что даже зимой приходилось со стуком распахивать заклеенные уже было рамы и проветривать его постанывающую, шаткую пустоту.

Скоро мы совсем перестали заходить в мамину комнату, опасаясь того, что бумажные руины обрушатся нам на головы. (Сколько раз они падали, отзываясь на едва уловимые тектонические

колебания, когда время, отработанное и остывшее как зола, сгущалось и осыпалось песком на землю, замедляя ее вращение!) Мама одна передвигалась там, внутри, осторожными шагами, встречая нас, являвшихся по какой-либо надобности, на пороге вопросительным, встревоженным взглядом, им же нас останавливая, и им же сообщая все, что мы хотели знать. Нам, для того чтобы увидеть ее, достаточно было подойти к вечно приоткрытым дверям и замереть, мысленно призывая ее явиться.

Да, поначалу мы стыдились ее чудачеств, и с терпеливостью обывателей, застигнутых несчастьями врасплох, все ждали, что они когда-нибудь закончатся, но со временем мы поняли, что нашей мамы, той, что мы знали когда-то, и прежней жизни у нас всех больше нет и никогда не будет — исподволь мы давно уже вовлеклись в это бесконечное странствие. Никто никогда не расспрашивал маму о причинах, толкнувших ее на столь долгий и трудный путь, — да и что бы она могла рассказать нам, непосвященным в ее тайну, и не знающим начала тайны? Нам оставалось лишь по оставшимся приметам восстанавливать события вершившиеся заочно и когда-то очень давно, словно отыскивая следы пропавшей экспедиции, да строить догадки о том, что нас ждет впереди.

Под все возрастающим натиском хаоса — а нам давно стало понятно, что именно так называется сила толкавшая ее на все эти странные поступки после ухода отца — то нравственное начало, те элементы характера мамы, что некогда делали ее — ею, расслаивались, крошились, превращая прежнюю твердыню порядка и разума сначала в причудливое собрание случайных элементов, затем — в осыпающуюся крошку, и, в конце-концов, уже просто в песок, носимый ветром. Песок, которому негде и не на чем остановиться, который уже и не помнит, кем он когда-то был. Уже словно по инерции она продолжала двигаться, уходя куда-то все дальше и дальше, а мы все ждали, обнадеживая друг-друга уменьшающимся год от года масштабом маминых увлечений, что вот-вот уже она остановится совсем. Наблюдая все это, я часто спрашивал себя: «Неужели это и есть история, в том числе и наша история — этот процесс бесконечной, безнадежной мены, с раз от раза ухудшающимся результатом?» С ужасом я вглядывался

в мамины черты, искажаемые временем все больше и больше до полной, абсолютной неузнаваемости. (Так эхо дурит, шалея от собственной свободы в опустошенных скорым переездом комнатах).
Вряд ли она помнила теперь, что толкнуло ту женщину, которой она была когда-то, на путь ведущий к бездне, и что заставило ее там, на самом краю, вглядываться со страхом и любопытством во мглу, клубящуюся на дне. Лишь одно какое-то уцелевшее зернышко, последняя крупинка, крохотное волоконце, еще оставаясь в ней от нее прежней – в голосе, в дрожащих руках, в лице – дарили нам радость узнавания и ложную надежду на то, что все поправится. И когда распад захватил ее полностью, всю, без исключений, когда странность и спонтанность накатывавших на нее интересов стали все четче и безнадежнее выдавать признаки безумия, мы поняли, что нет смысла питать какие бы то ни было иллюзии, и поздно надеяться на то, что вот-вот на горизонте забрезжут границы заветного Града. Да и сама она, в конце концов, вынуждена была признать, что весь ее путь к постижению и покорению мировой гармонии был ложным и вел лишь в логово того самого зла, с которым она боролась всю свою жизнь и едва не победила его. Тогда в лице ее, мудром и по-прежнему красивом, не мелькнуло ни следа ни страха, ни отвержения, словно она понимала, за что ей все это. Понимала и принимала. Без жалоб, лишь с какой-то одною робкой, извиняющейся улыбкой.
Мама продолжила свой путь, ведомая уже неизвестно чем: может быть все еще своею волей, а может быть уже исключительно происками коварного Врага – из той дали, где мы все оказались, уже трудно было разобраться подробнее – но в том подобии Вальгаллы, или в близком ей по происхождению пантеоне, куда она забрела на закате дней, взору ее окончательно открылась вся соблазнительная прелесть того, чего она так прежде боялась и так ненавидела. Ужасное, всепоглощающее ничто представлялось здесь вовсе не Диаволом, и не путем ведущим к погибели, но напротив, чем-то вроде животворной и вечной майи, в пучины которой мама теперь с легкостью погружалась в самых неожиданных местах и в любое время. (Со стороны казалось, что она спит, паря в воздухе, и ее маленькое сухое тело

раскачивают осенние ветра, безвозвратно унося его последнее тепло, (так, что ей теперь постоянно казалось, что в доме холодно, и даже летом она все порывалась позвонить или зайти в ЖЭК с жалобой на то, что не вовремя отключили отопление, и потому даже в самую жару она вынуждена ходить по дому в кофте и толстых шерстяных носках), снимая с нее, нить за нитью, тот нежный аромат цветов лимона, который некогда окутывал каждый ее жест, каждую вещь, к которой она прикасалась, и даже само то место в пространстве, в котором она находилась хотя бы и день, и неделю, и месяц назад.) Это был окончательный, решительный натиск хаоса.

Он просачивался в маму по чуть-чуть, подсылая сначала вместо себя своих клевретов, двуликих и лживых, вызывающих то горькую жалость, то минутное раздражение. Он проникал в ее жизнь легкими сквозняками забывчивости, мутными струйками неряшливости, холодком небрежения, прячась под многочисленными масками старческой неопрятности и слабеющей мысли. Поначалу лишь слегка, как бы играючи, он переставлял вещи в нашем доме, едва заметно, робко сдвигая их со своего привычного места, как сдвигает на свое хрестоматийное «E2-E4» пешку неопытный игрок в шахматы. Притворной слабостью он завлекал, втягивал доверчивую маму в свою игру и, постепенно наглея как почуявший уверенность аферист, как заигравшийся зверь, что урча, все больнее покусывает партнера, в конце-концов, однажды отбросил личину, и ворвался в дом во всей своей ярости, бросился по комнатам, заметался по углам, вздымая вороха открыток и акварелей, раскрывая и перетряхивая поварские книги и записные книжки, справочники, пособия, описания, вырывая листки из нотных тетрадей и уцелевших отцовских книг, топча и раздирая их пополам, словно желая уничтожить все улики некогда вынужденной собственной слабости, все свидетельства давнего своего притворства, и, в конце-концов, уже просто отшвыривая в сторону ставшие ненужными формальные условности и конструкции. «Я больше так не могу, не могу! Ну надо же что-то делать!» — часто восклицала Маринка, обводя взглядом последствия очередной вакханалии. Необузданная, дикая сила разрушения срывала шторы, сбрасывала на пол все на своем пути, бросалась

с места на место, переворачивая вверх-дном белье в шкафах, рассыпала и комкал давно прочитанные письма с побледневшими от страха строками, а ночью открывала все краны, наполняя сонные пространства басовитым ревом паровозного гудка, словно теперь каждую ночь от порога нашей кухни отправлялся поезд к Черному морю, и пол устилал розовый шелк прощальных цветов.

Мама… Беспомощная и напуганная, смотрела она на его бесчинства и неумело, наспех прятала следы разрушений. Она пыталась даже сначала образумить его, приручить, как-то договориться с ним, но однажды, махнув на все рукой, покорилась натискам и, в конце-концов, стала полноправной его соучастницей. Она сама отворила двери для всех ветров и дождей, для всех воспоминаний и призраков и они, вперемешку с редкими настоящими событиями, малозначительными, как то бывает у младенцев и стариков, густой толпой вошли в наш дом и пустились разгуливать по его комнатам, хлопая шторами и оконными рамами, дребезжа треснувшими в шкафах стеклами, отколупывая с косяков краску и роняя ее, острую как лезвие бритвы, нам под ноги. Какие-то бродяги, в отрепье, согбенные и пропахшие гнилой картошкой расхаживали в потемках комнат, сидели на продавленных диванах, ели что-то за рассохшимися столами, спали вповалку на полу, и делали это без стеснения, как нечто само-собой разумеющееся, похожие на тени, поселившиеся здесь прежде, и скоро уже невозможно стало различить кто есть кто.

Хаос окончательно овладел нашим домом и отныне полновластным хозяином распоряжался в нем. Он отменил целые периоды наших воспоминаний, день и ночь кропотливо работая над перестройкой и перепланировкой прошлого. По утрам осыпающаяся со стен штукатурка была покрыта инеем, словно там непрерывно шла ускоренная реакция замещения некогда упорядоченных, согретых нашим теплом пространств холодом и запустением и мы, встречаясь по утрам, торопились передать друг-другу, на ходу, чудом уцелевшие в памяти сведенья о былом, а мама, наша слабая и старая мама махнула на все рукой, уразумев, наконец, в одном из своих темных старческих снов, что вся ее борьба была вызвана лишь страхом перед небытием, и теперь она от него избавилась, теперь она стала настоящим стоиком, как и все

одинокие старики в мире, смирившиеся с неизбежным ходом истории.
Напоследок она добыла где-то старенький ВЭФ, и все крутила, крутила, часами, отрешенная, никак не реагируя на наши мольбы и окрики, ручку настройки, изводя нас то скотским хохотом, то инфернальным ревом и свистом беснующегося эфира, пока однажды тонким красным волоском не нащупала внутри рассохшегося деревянного ящичка музыку — последнее, что связывало ее с утраченными иллюзиями. Дом, словно концертный зал, озарился всполохами новой гармонии: под раскаты роялей и звон медных труб он вдруг вознесся куда-то высоко, туда, куда так стремились некогда и мама, и отец — каждый в свое время… Мусоргский, Рахманинов, Скрябин… Но скоро что-то стало происходить и с музыкой — вероятно, окончательно рассохлись конденсаторы и выкипел от многочасовой работы, воск в контурах: все чаще непрошенными воспоминаниями в классические рулады стали врываться легкомысленные, приснопамятные по впечатлениям детства и юга фокстроты, врываться и снова пропадать в нечленораздельном пещерном вое, уже навсегда.
«В каком соотношении со вторым законом термодинамики находится наша жизнь?» — думаю я, перешагивая через чьи-то стоптанные башмаки, упавшие на пол подушки, сдвигая в сторону, чтобы пройти, скользкую от пролитого супа швейную машинку… «В прямом? В обратном?» Не помню, когда я впервые задумался об этом. Может быть, с тех пор, как мама стала приводить с улицы в дом этих совершенно случайных, посторонних людей? (Сколько раз я ругался с нею, убеждал, увещевал, что среди них могут оказаться кто угодно, проходимцы, мошенники! Дадут по голове утюгом, например, или вот этой мраморной ступкой, — из-за ста рублей ведь могут прибить, время сейчас такое… И наталкивался на терпеливый, пережидающий взгляд ее серых глаз.) Или раньше, еще при первых признаках энтропии, когда, словно вступив с нею в сговор, я не заострял внимания на незаправленной отчего-то средь бела дня постели, на выкипевший суп? Или задуматься об этом меня заставил образ, пару-тройку раз на излете детства промелькнувший в полутемной прихожей, образ, показавшийся мне странно знакомым…

Да! Кажется, именно тогда меня охватило чувство, после уже не оставлявшее никогда: что в нашей жизни постоянно, с каждой секундой, усиливается драматической накал. Каждый день в ней появляется что-то новое, что-то уходит на второй план, но ничто и никуда не исчезает бесследно, словно в каждом из нас идет непрерывный процесс не замещения, но дополнения, демонстрируя антиисторическую природу любви. Все сильнее напряжение присутствующих, все несноснее мрак, все громче хлопки, стуки, кашель, все несноснее скрежещут скрипки в оркестровой яме… Кажется, что сейчас, со дна ее, наконец, воспарит волшебный, удивительный свет, и вот-вот я, наконец-то, прозрею… Так что же – спрашиваю я себя торопливо, – что же такое эта драма? Смятение это, что, умножаясь, готово столкнуть все и вся в оглушающий триумф трагедии, или же все возрастающий порядок? Не для нее ли, бесконечной, уготовано это бесконечно расширяющееся пространство? Я растерянно оглядываюсь – там, в глубине зала, накидки на спинках кресел пенятся мелкими барашками, и крутятся, снуют фигуры. Я чувствую себя игрушкой в волнах времени, я знаю, оно поглотит и не оставит от всех нас ни следа, но… как странно это: там, в стороне от уходящих множеств, чуть поодаль – небольшая группка людей, похожая на встречающих. Правда, как странно: кого встречают они, когда здесь все – уходят? Вот и знакомое лицо промелькнуло… Разве можно сказать, что наша жизнь изменилась хоть в чем-то с тех пор, как мы одни отправились к нашему Черному-черному морю?

И вот – ликующая дрожь охватывает меня, когда пиненовым эфиром воспаряет, наконец, та памятная с детства музыка! Над осенними красками, вмороженными в лед и растаявшими! Закрутившимися, завертевшимися! И несутся ликующие скрипки, рассыпаются рояльные стаккато. Звон литавр, гром труб летит, то стихая piano, то выстреливая акцентами, то стелясь у земли, то взмывая к солнцу, летит, как летел тогда, провожая нас на вокзале, торжественный марш. Я прислушиваюсь. Я замираю, инстинктивно наклоняя голову. Ниже, ниже… Уже так низко, что почти касаюсь ухом шуршащего черствого ватмана, оставляющего на коже цветовую пыльцу, я почти не дышу, пытаясь разобрать

то, что кто-то кому-то говорил в микрофон почти вечность назад. Я, кажется, слышу! Это слова любви… Их все больше, они множатся, теснятся, подвигаются, но не уходят, давая места новым. Они разные, эти слова, и некоторые из них звучат как «никогда», или «устала», и даже «ненавижу». Они все добавляются и добавляются, не отменяя прежних, расширяя спектр высказывания до кажущегося уже непосильным, невозможным как испытание, но остающегося, как обетование, смиренным и кротким как правда.

Об авторе: ДМИТРИЙ ИСАКЖАНОВ

Прозаик и поэт. Родился в 1970г., в Омске. Публикуется в журналах «Арион», «Знамя», «Нева», «Сибирские Огни», «Крещатик», «Новая Юность» и др. В 2008 г. вышла книга стихов «Проверка зрения». В 2016 получил первую премию им. Марка Алданова за повесть «Доля ангелов». Hekaýalar